

## X. ПРЕДГУМАНИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Боккаччо-предгуманиста мы привыкли представлять себе так, как описали его два известных итальянских критика прошлого века. При упоминании имени Боккаччо Де Санктису рисовалась картина настолько переполнявшая его душу восторгом, что он невольно воскликнул: „Как я попал сюда, и когда?“ Светлые, радостные лучи, исходящие от этой картины, озаряют для критика уже „другой мир“, где происходит „не только отрицание средневековья, но и *издевка* (курсив В. Бранки.— *Прим. пер.*) над ним“. Кардуччи изобразил Боккаччо чуть ли не персонажем героической эпопеи, который, „преисполненный радостного трепета, поднимается по ступеням лестницы, ведущей в библиотеку Монтекассино\*, среди буйной травы, выбивающейся из щелей между плитами“<sup>1</sup>.

Эти два образа, хотя и отличаются друг от друга, исходят из одной предпосылки: большинство ученых XIX века резко противопоставляли Средневековье и гуманизм, считая их абсолютно несовместимыми.

Когда же это противопоставление „темного“, „варварского“ века эпохи, озаренной светом, радостью, в которой проявилась широта человеческой натуры, постепенно утрачивает категорический характер, утрачивает на первый взгляд свою колоритность и выразительность и фигура Боккаччо-предгуманиста.

На самом же деле именно в атмосфере высшей духовной преемственности между культурой позднего Средневековья и гуманизма — преемственности, очень точно раскрытой в трудах Фараля и Реноде\*, являющихся ценным достижением нашей науки,— литературное творчество Боккаччо (в общем типично средневековое) предвосхищает новую эпоху и ставит проблемы, которые затем будут в центре раннегуманистической культуры.

В какой-то степени можно, конечно, согласиться с тем, что Кардуччи изображает Боккаччо удачливым открывателем великих произведений древних авторов (при том,

что картина Монтекассино выдержана у Кардуччи в романтических тонах и в своей основе неверна). Но высокая гражданская миссия Боккаччо была лишь закономерным результатом исключительной зрелости, которой достигло к тому времени Средневековье: Боккаччо влекло на эту стезю с того времени, когда он юношой впервые испытал восторг перед Данте, перед великой культурой XIII века, к которой он приобщился в литературных кругах Неаполя и Флоренции.

Если мы еще и продолжаем считать вслед за Кардуччи, что поворотным моментом в развитии предгуманистических представлений Боккаччо стала его дружба с Петраркой, то мы отнюдь не склонны видеть в нем лишь преданного ученика, каким сам Боккаччо постоянно себя изображал, рядом со своим „*venerabilis Franciscus Petrarca insignis p̄cepto*“ („светлейшим наставником, досточтимым Франческо Петраркой“). Недавно обнаружилась боккаччанская филигрань в „Триумфах“ Петрарки, произведениях, где Петрарка захотел придать поэтическую и героическую форму миру своих идей — миру великих людей античности, ради которого и в котором он намеревался жить. За мыслей этой гуманистической поэмы восходит к „Любовному видению“<sup>2</sup>; поэма Боккаччо так очаровала Петрарку (весьма недоверчиво взиравшего на литературу на итальянском языке), что ее отголоски мы ощущаем в многочисленных лексических заимствованиях „Триумфов“.

Более того, сравнительно недавно обнаружилось, что по своим знаниям античной литературы и культуры Боккаччо превосходил Петрарку. Вспомним хотя бы, что именно Боккаччо первым<sup>3</sup> из литераторов на Западе после многовекового перерыва обратился к греческой литературе, читал Гомера и Платона — книги, которые Петрарка мог лишь с немым обожанием прижимать к груди. Если Петрарка в трактате „Тайна“ и в одном из последних „Старческих писем“ повторяет вслед за Цицероном мысль об абсолютном превосходстве латинской культуры над греческой, то Боккаччо в трактате „О генеалогии языческих богов“ уже уделяет эллинской культуре целую главу: „*Ego in h̄c latinitati compatior, que sic omnino greca abiecit studia ut etiam non noscamus caracteres licterarum. Nam, etsi sibi suis sufficiat licteris et in eas omnis occiduus versus sit orbis, sociate grecis lucidiores procul dubio apparerent. Nec preterea omnia secum a Grecia veteres traxere latini; multa*

*supersunt, et profecto nobis incognita, quibus possemus scientes effici meliores*“

„Я потому сострадаю латинянам, что они совершенно презрели занятия греческим языком, из-за чего мы сегодня уже не помним даже его букв. Хотя латинской словесности и достаточно своей литературы, которую изучает весь западный мир, она бы, несомненно, еще более воссияла, если бы ее изучали вместе с греческой. Тем более что древние латиняне позаимствовали у греков далеко не все: многого мы не знаем, а это могло бы обогатить наши знания“; XV, 7).

Боккаччо первым из представителей среднелатинской культуры осознал и ощутил обе великие культуры прошлого в их духовном единстве: он так обостренно воспринимает это открытие и его значение для современников, что — случай беспрецедентный во всем его творчестве — не может удержаться от жеста, исполненного гордости: „Ipse... fui, qui primus meis sumptibus Homeri libros et alios quosdam grecos in Etruriam revocari, ex qua multis ante seculis abie- rant non reddituri: nec in Etruriam tantum, sed *in patriam* deduxi. Ipse ego fui, qui primus ex latinis a Leontio in pri- vato Yliadem audivi: ipse insuper fui, qui, ut legerentur pub- lice Homeri libri, operatus sum“ („Я... первым на свои средства вернул книги Гомера и других греческих авторов в Этрурию, откуда они ушли много столетий назад и куда более не возвращались. И не в Этрурию вернул я эти книги, а *на родину*. Я был первым из латинян, который от Леонтия\* услышал у себя дома „Илиаду“. Я же добился и публичных чтений гомеровских поэм“ ; XV, 7).

Помимо неиссякаемого источника греческой литературы и философии, Боккаччо открыл для предгуманистической культуры целый ряд латинских авторов. Ортис, Де Нолак и Овет\* (последнего мне хотелось бы отметить особо) подробно проанализировали причины, заставившие Боккаччо первым из европейцев по прошествии стольких веков обратиться к Тациту. Недавно и другие исследователи обнаружили, а точнее, подтвердили, что благодаря Боккаччо достоянием культуры вновь стали эпиграммы Марциала, трактат Варрона „De lingua latina“<sup>4</sup> („О латинском языке“); „Pro Cluentio“ („В защиту Клуэнция“), „Pro Quinctio“ („В защиту Квинкция“), „Pro Flacco“ („В защиту Флакка“) и, возможно, другие речи Цицерона; некоторые произведения Сенеки, как, например, „Ludus de

*morte Claudi* („Сатира на смерть императора Клавдия“); трактат Колумеллы; некоторые части из „Appendix vergiliana“ („Аппендикс вергилиана“)\*, некоторые *Priapei*\*, „Ибис“ Овидия; произведения Апулея, „De institutione divinarum et saecularium litterarum“ („Руководство к изучению божественной и светской литературы“) Кассиодора. Мы уже не говорим о текстах менее значительных или сохранившихся лишь частично.

Начиная в основном с 1360 года дом Боккаччо становится подлинным центром итальянского предгуманизма, где петrarкизм неаполитанский сочетается с петrarкизмом литераторов Ломбардии — Венето. Здесь сформировались такие люди, как Салутати, Виллани, Луиджи Марсили, оставшиеся верными заветам августинианского кружка при монастыре Санто Спирито, который был так дорог Боккаччо. Из дома писателя замечательные литературные „открытия“ расходятся по всей Италии и Европе. Десятки и десятки рукописных книг античных авторов, распространяемых одновременно с Петrarкой и падуанским кружком, можно считать едва ли не первыми собраниями сочинений классиков, разошедшимися по Европе.

Естественно, первым получает от Боккаччо эти сокровища Петrarка: уже в самом их выборе отчетливо проявляется оригинальный характер боккаччиевского гуманизма. Боккаччо посыпает Петrarке не только античных классиков, но и труды отцов церкви. Так, например, в 1355 году Петrarка получает от него полный том „Enarrationes in Psalmos“ („Комментариев к псалмам“) св. Августина, которые он давно хотел иметь. Об этом даре (манускрипт сейчас хранится в Национальной библиотеке в Париже) Петrarка взволнованно вспоминает в одном из „Писем о делах личных“ (XVIII, 3). На форзаце манускрипта мы видим и сегодня подписи двух великих друзей — свидетельство их глубокого внутреннего единомыслия и однаковой приверженности августиновскому платонизму<sup>5</sup>. С трепетным волнением, но и с откровенной настойчивостью Боккаччо дарит в 1351 году Петrarке еще одну священную книгу: „Божественную комедию“ — и сопровождает свой дар знаменитым стихотворным посланием „Italiae iam segtus“ („Италии уже известен“) (автограф хранится сегодня в Ватиканской библиотеке, лат. 3199)<sup>6</sup>.

Предгуманизм Боккаччо представляется менее подчиненным стилистическим и риторическим канонам, чем пред-

гуманизм Петrarки. Он менее утончен, более эклектичен; но его непрерывно питает глубокая, пылкая любовь к поэзии; Боккаччо чувствует, что „ad poeticas meditationes dispositum ex utero matris“ („чуть ли не с материнской утробы расположен к занятиям поэзией“; „О генеалогии языческих богов“, XV, 10). Этот первый апостол культа Данте смог глубже, чем Петrarка, постичь поразительную непрерывность духовной жизни, поэзии и культуры от античности до его эпохи. Извлекая из глубины веков сокровища Древней Эллады, Боккаччо открывает необъятные просторы за пределами латинской культуры; одновременно он раздвигает ее границы, включая в нее и христианских авторов, и некоторые средневековые сочинения, и „Поэта“, написавшего свою „Комедию“ на народном итальянском языке. Не случайно, что в „Тезеиде“, самом „литературном“ из ранних произведений Боккаччо, он следует и знаменитым эпическим поэмам на латинском языке, и народным поэмам *кантари*<sup>7</sup>, воспевавшим необыкновенные приключения. Не случайно и то, что в „Декамероне“ античные и средневековые источники сочетаются уже по-настоящему гармонично; что в описании чумы, этой величественной „ увертюры“ к „Декамерону“, реминисценции из Лукреция вплетаются в страницу, заимствованную из Павла Диакона; не случайно, наконец, что в ритме прозы сильнее ощущается влияние Ливия, чем Цицерона, а еще сильнее — влияние наиболее авторитетных трактатов Средневековья по риторике и поэтике. Приобщаясь к греческой литературе, Боккаччо пересматривает и переосмысливает свое преклонение перед Данте<sup>8</sup>. Его восторженная любовь — не риторическая, а вполне человечная — к поэзии, ко *всей* поэзии, определяет его эстетическую теорию: синтез великих поэтических идей Средневековья, рассуждений, которые эпизодически выдвигались представителями последнего поколения, предчувствие грядущих полемических споров, которым суждено было разразиться на рубеже XIV—XV веков.

Зашита поэзии от теологов и мистиков, недоверчиво относившихся к ней, от юристов и медиков, грубо презиравших сущность поэзии и ее назначение,— таковы были темы, которые оживленно обсуждались в эту эпоху. Подобные темы затрагивались и раньше (Данте, Джованни дель Вирджилио, Альбертино Мускато<sup>9</sup>); Петrarка неоднократно рассуждает о поэзии в письмах, особенно в зна-

менитом письме к своему брату Герардо (X, 4)<sup>10</sup>, в „Стихотворном послании“ к Зоилу (II, 11), в песне в честь Вергилия, в „*Invectiva contra medicum*“ („Инвенктиве против врача“). Несомненно, что во время дружеской встречи в Падуе в 1351 году Петрарка и Боккаччо касались вопросов поэзии в своих долгих задушевных беседах. Об этом с грустью вспоминает Боккаччо в одном из писем к Петрарке: „*Tu sacris vacabas studiis, ego compositionum tuarum avidus ex illis scribens sumebam copiam. Die autem in vesperum declinante a laboribus surgebamus ипанимē et in ortulum ibamus tuum, iam ob novum ver frondibus atque floribus ornatūm... et invicem sedentes atque confabulantes quantum diei supererat placido otio atque laudabili trahebamus in noctem*“ („Ты предавался душой благородным занятиям, а я, жадный до твоих сочинений, переписывал их для себя... Когда же день подходил к концу, мы оба прерывали наши труды и шли в твой сад, который наступившая весна уже украсила зеленью и цветами... располагались и принимались беседовать, пока не кончался день. Вот за каким мирным и похвальным досугом нам случалось засиживаться допоздна“ (письмо IX). Среди текстов, переписанных в те дни, были как раз „Стихотворное послание“ к Зоилу, песнь в честь Вергилия, послание к Герардо, которое Боккаччо очень любил и неоднократно цитировал. По-видимому, сразу же после своего возвращения во Флоренцию с этими сокровищами Боккаччо вновь принялся за уже начатый первый набросок сочинения „О генеалогии языческих богов“, где исключительное место занимает защита поэзии (книги XIV—XV)<sup>11</sup>.

Эпизодические размышления о поэзии в некоторых письмах (II, IV, VIII) и в трактате „*De vita et moribus Francisci Petrarchi*“<sup>12</sup> („О жизни и нравах Франческо Петрарки“) — первом из сочинений, написанных в честь великого друга в начале 1351 года, важнейшего года в жизни Боккаччо, когда он прочел речь Цицерона „*Pro Archia*“ („В защиту Архия-поэта“) (этот истинный кодекс новой культуры, который Петрарка дважды цитирует в своей речи на Капитолии)<sup>13</sup>, — становятся все многочисленнее и восторженнее и наконец укладываются в стройную систему в заключительной части книги „О генеалогии языческих богов“. Боккаччо защищает поэзию менее осторожно и менее риторично, чем Петрарка<sup>14</sup>: это всеобъемлющая страстная защита не только латинских авторов, но и всей поэзии вообще,

в том числе первых писателей на народном языке, стильновистов, Данте и самого Петrarки. Впервые поэзию рассматривают и защищают именно *как поэзию*.

Такая постановка вопроса полемична. Боккаччо хочет расстроить ряды тех, кто отрицает поэзию: самодовольных невежд, теологов, смотрящих на поэзию как на мирской обман, правоведов, презирающих ее за то, что она не приносит богатства, лицемеров, этих самозваных учителей истины, с напускным религиозным рвением обвиняющих поэзию в том, что она бесполезна, суетна и опасна своим чувственным и языческим началом, доставляющим удовольствие, за что она была осуждена такими величайшими философами, как Платон и Боэций. Подобные мотивы неприятия поэзии очень характерны для культуры тех веков — они слышатся и в „Новеллино“, и у Данте, и у Петrarки, и у Альбертино Мускато, и в „Вилле Альберти“<sup>15</sup>.

Свою концепцию поэзии<sup>16</sup> Боккаччо излагает в полемике с теми, кто ее отвергает. Взгляды Боккаччо еще во многом соответствуют понятиям средневековой эстетики. Поэзия есть некий пыл, с помощью которого человек создает в своем воображении новый мир и находит для его изображения высокие и достойные слова; она, „qui ex sinu dei procedens“ („происходя из божьего лона“), дается лишь немногим и встречается среди людей крайне редко. „Huius enim fervoris sunt sublimes effectus, ut puta mentem in desiderium dicendi compellere, peregrinas et inauditas inventiones excogitare, meditatas ordine certo componere, ornare compositum inusitato quodam verborum atque sententiarum contextu, velamento fabuloso atque decenti veritatem contegere“ („Действия этого пыла поистине возвышенны: он внушиает душе стремление говорить, изобретать чудные и неслыханные вещи, с глубоким смыслом сочетать их в стройном порядке, украшать сочиняемое непривычными сплетениями слов и суждений и скрывать истину под мифическим и благолепным покровом“). Поэзия — душа мира, поэт должен быть провидцем, пылкой силой поэзии. Он „reges armare, in bella deducere, e navalibus classes emittente, celum terras et equora describere, virginis sertis et floribus insignire, actus hominum pro qualitatibus designare, irritare torpentes, desides animare, temerarios retrahere, sonles vincere, egregios meritis extollere laudibus“ (XIV, 7). („Снаряжает царей, ведет их на войну, высылает флоты из гаваний, живописует небо, земли и воды, украшает дев вси-

ками и цветами, рисует поступки людей с их нравами, подстегивает косных, воодушевляет слабых, сдерживает безрассудных, вяжет преступников, заслуженной хвалой величает достойных“; XIV, 7). Но для этой высокой миссии недостаточно божественного пыла, то есть вдохновения, абсолютно необходимы основы грамматики и риторики, а также *liberalium aliarum atrium et moralium atque naturalium ... principia... et secularis glorie appetitus* („начала других свободных нравственных и естественных искусств... и стремление к мирской славе“; XIV, 7). Риторика со своей стороны полностью противоположна поэзии, в которой воплощаются все человеческие достоинства: „*Habet enim suas inventiones rhetorica... satis apparet potest... poesim facultatem esse et ex dei gremio originem ducere et ab effectu nomen assumere et ad eam insignia atque fausta multa spectare*“ („Свои изобретения есть и у риторики... должно быть уже достаточно ясно, что поэзия есть умение, происходит из лона божьего, получает название по своему действию, и к ней относится много славных и высоких вещей...“). Поэзия есть правда под чудесным покровом мысли: „...tota poesis est quicquid sub velamento componitur et exponitur exquisite“ („...все, что сочиняется под таким покровом и излагается изысканным языком, есть чистая поэзия“; XIV, 7).

В дальнейшем Боккаччо вновь возвращается к поэзии в „Жизни Данте“, где он приводит те же доводы, к которым неоднократно прибегал и Петрарка (см. „Инвектива против врача“, „Капитолийская речь“, „Африка“, IX, 78): „Давным-давно известно, что добытое в поте лица нам дороже, чем само идущее в руки. Очевидная истина, которую мы усваиваем на лету, доставляет нам удовольствие и легко запоминается. Но так как достигнутая с трудом истина доставляет нам еще больше удовольствия и еще тверже запечатлевается в памяти, поэты облекают ее в различные покровы, иной раз как будто вовсе ей не идущие, и сказку предпочтитаю всем другим, потому что красоты этой формы привлекают читателей, в том числе и тех, которые отвернулись бы от проповедей и философских рассуждений“<sup>17</sup>. И действительно, очень часто „*poetas illustres sepissime seducere credulos teor et eos facere meliores*“ („Великие поэты соблазняли послушных читателей и делали их лучше“; XIV, 16).

В этом поэзия походит на Священное писание, и, следовательно, нельзя противопоставлять поэзию философии и теологии: „...скажу больше: теология — это поэзия, воспевающая бога“ („Жизнь Данте“). И в самом деле мы видим, что и языческие поэты, „eo usque, quo *humanum potest penetrare ingenium, attigisse et absque ambiguitate novisse unum tantum Deum esse; ad quam notitiam devenisse poetas eorum in operibus percipitur liquido*“ („безусловно, проникли в глубины, какие только доступны человеческому разуму, и познали единство бога, о чем с несомненной очевидностью свидетельствуют их произведения“; XIV, 13). Да и „*etiam Dominus et Salvator noster multa in parabolis locutus est... et Ipse adversus Paulum prostratum Terentii verbo usus est, scilicet durum est tibi contra stimulum calcitrare...*“ („не говорил ли сам господь и спаситель наш многое в притчах... Не обратился ли он к поверженному Павлу словами Теренция: „Трудно тебе идти против рожна?“; XIV, 18).

Боккаччо ясно осознает, что защита и прославление изящной словесности не только долг перед культурой и обществом, но и высокая духовная и религиозная миссия, и потому, завершая свое сочинение, в котором с таким жаром прославляет поэзию, он смиренно славит бога, словно священник в конце торжественного богослужения: „*divina pietate prebente, in finem longi operis ventum est... Ipse igitur Deus protegat, qui solus novit diverticula malignantium et volens contrivisse potuit!.. omnes honestos, sacros, pios atque catholicos viros, et potissime celebrem virum Franciscum Petrarcam insignem preceptorem meum, ad manus quorum opus hoc aliquando deveniet, per Christi preciosissimum sanguinem deprecor, ut errores quoscunque, si quos forsitan minus videns dictis immiscui, sua pietate ac benignitate surripiant aut illos in sacram veritatem convertant: ...si quid boni inest, si quid bene dictum, si quid votis consonum... verum scientie mee imputes nolo, nec lauros aut honores alios ob id postulo: Deo quippe, a quo omne datum optimum et omne donum perfectum est, attribuas queso, Eique honores impendito et gratias agito, cum ipse more meo semper post exactors quoscunque labores honestos consueverim, qua possum mentis devotione Daviticum illud dicere: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam*“ (...лишь божественная благость позволила мне довести до конца мой долгий труд... Да защитит меня сам господь: лишь

ему одному ведомы тайные помыслы злопыхателей и лишь он один может их разрушить! ... Я обращаюсь ко всем честным, уважаемым, благочестивым мужам католикам, и прежде всего к славному мужу Франческо Петrarке, моему достопочтенному наставнику, и заклинаю их, в чьи руки, быть может, некогда попадет мой труд, чтобы ради всего святого они по своему благочестию и доброжелательности исправили все ошибки, которые я невольно допустил, пусть даже самые малые, или же посчитают их за святую правду... если мой труд удался, если он облечён в подобающую форму, если он соответствует первоначальному замыслу... я не хочу, чтобы ты приписывал это моей учености, и не спрашиваю за это ни лавров, ни иных почестей; но прошу тебя, чтобы заслуги мои приписал ты господу нашему, которому мы обязаны всем лучшим и совершенным, пусть ему воздадут все почести и славу, ибо по своему обыкновению привык я по завершении любых своих честных трудов в благочестивом порыве всегда говорить словами Давида: Не нам, господи, не нам, по имени твоему дай славу"; XV, закл.).

В отличие от многих своих современников Боккаччо не только утверждает за поэзией ее законное право на существование, но и выдвигает в пользу ведущей роли поэзии такие аргументы, опровергнуть которые весьма трудно. Его понимание поэзии еще во многом средневековое: поэзия — истина, скрытая под покровом, но есть что-то гуманистическое в этом универсально широком определении, охватывающем и остальные формы духовной и нравственной жизни, в особом подчеркивании „стремления к земной славе“; Боккаччо провозглашает все эти истины с горячим энтузиазмом, он постоянно и с любовью цитирует своих самых дорогих учителей Данте и Петrarку, его вдохновляет открытие, ставшее его глубоким внутренним убеждением: в многогранной деятельности духа, в широкой панораме общественной жизни поэзия занимает центральное место, которое по праву принадлежит лишь ей одной.

Все эти старые и вечно новые мотивы, это возвышенное и благородное сознание бессмертного характера поэзии освещены тем тайным влечением к славе, которое носит у Боккаччо всегда сдержанный характер. Для него уже „nulla est tam humilis vita quae dulcedine gloriae non tangatur“ („нет такой скромной жизни, которую бы не прельщала слава“; XV, 7); слава выступает рука об руку с поэзий-

зией, как сам Боккаччо это ярко изобразил в „Любовном видении“<sup>18</sup>.

В годы зрелости, словно опьяненный своим великим открытием поэзии, Боккаччо повторяет одни и те же рассуждения и доводы и в „Жизни Данте“, и в „Чтениях Божественной комедии“; касается их он и в сочинении „О злоключениях знаменитых мужей“, тогда как в „Эклогах“ (XII и XIII), в „Письмах“ (XII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV), в трактате „О генеалогии языческих богов“ (в частности, XI, 2) желание славы постепенно становится побудительной причиной высоких нравственных идеалов и благороднейших гражданских надежд; из письма к Якопо да Пиццинга мы видим, что Боккаччо словно предвосхищает то великое обновление, которое нес Гуманизм с его героическим пафосом: „In spem venio atque credulitatem Deum... in italorum pectora effundere animas ab antiquis non differentes, avidas... duce poesi nomen pretendere in evum longinquum... et posteritati mirabiles apparere. A quibus etsi non integrum deperditi luminis italicici restituatur columen, saltem a quantuncumque parva scintilla optantium spes erigitur in fulgidam posteritatem“. („Я преисполнюсь надеждой и верой, когда вижу, что бог... вложил в сердца итальянцев душу, не уступающую той, что была у древних... движимые поэзией, они хотят надолго прославить свое имя... и восхитить собою потомков. Даже если они не возродят полностью утраченную славу итальянцев, то по крайней мере от одной самой маленькой искорки загорится надежда тех, кто стремится к этой славе, и воссияет в будущем ярким пламенем“.)

Вдохновенные пророчества, трепетные предчувствия, которые звучат в полный голос в „Защите поэзии“, привлекали внимание читателей к сочинению „О генеалогии языческих богов“, и оно разошлось по всем странам. Оно имело больше успеха, чем самые удачные произведения Боккаччо (распространению которых посвящено замечательное исследование Бедариды). В самых различных и самых удаленных культурных центрах сочинение „О генеалогии языческих богов“ было встречено как книга долгожданная и желанная: ее переводят на итальянский, французский, английский и кастильский языки; горячие поклонники размножают это сочинение в сотнях экземпляров, которые расходятся по европейским библиотекам, превращая книгу Боккаччо в *Великую хартию* нового благородства, ко-

торым повсеместно наделялась поэзия. Когда Салутати в посланиях к Джулиано Дзонарини (IV, VII), к Джованни да Самминьято (XII, XIV), к Пеллегрино Дзамбеккари\* (IX, X), к Джованни Доминичи (XIV) и в сочинении „*De laboribus Herculis*“ („О подвигах Геракла“) встает на защиту поэзии, он не только вдохновляется примером своего великого учителя, но почти дословно его повторяет. Когда же искушенный и неистовый полемист монах Джованни Доминичи\* отвечает Салутати в сочинении „*Lucula noctis*“, его филиппики и стрелы направлены против автора „О генеалогии языческих богов“; а несколько десятилетий спустя Франческо да Фиано\* и Бартоломео да Лендинара, защищая и превознося поэзию, вновь будут широко черпать аргументы из сочинения Боккаччо.

Интереснейшая проблема, которую Боккаччо впервые ставит и последовательно анализирует, становится фактически одной из главных тем наших ранних гуманистов; ее разрабатывают и продолжают обсуждать на протяжении всего XV века, в несколько иной плоскости она возникает в эпистолярном споре Пико делла Миандола и Эрмолао Барбаро, когда последний изящно защищает не поэзию, являющуюся „душой мира“, а риторику, которая должна занимать подобающее ей место рядом с философией, защищает необходимость абсолютной гармонии между (*res et verba*) (материалом и словами)<sup>18</sup>.

Вот так, в роли первого поборника поэзии, „ведущей свое начало от бога“, поэзии „*alma mundi*“ — „души мира“, Боккаччо, окруженный неизменным почитанием, словно жрец поэзии, провозглашается гуманистами провозвестником их собственных идеалов и веры.

„*Studium fuit alma poesis*“ („Его занятием была благодатная поэзия“) — этой единственной похвалы пожелал Боккаччо удостоиться посмертно; она должна была освятить ту страсть, что год за годом неизменно росла в его душе, что с каждым днем все больше и больше становилась для него смыслом жизни. И как бы в ответ на смиренную тоску по славе, благосклонность которой Боккаччо испытал, когда обратился ко всему миру с манифестом, заявляя о правах поэзии, Колуччо Салутати добавляет к искренним словам Боккаччо:

„*Inclite cur vates, humili sermone locutus,  
De te pertransis?.. Aetas te nulla silebit*“

„О достославный Учитель, зачем в своей речи смиренно  
Ты умолчал о себе? Ведь слава не станет молчать“.  
(Пер. Е. Костюкович)

В этих стихах слышатся удрученность и смятение всех флорентийских гуманистов, потому что, как писал Саккетти, со смертью Боккаччо словно умерла сама поэзия („Rime“, CLXXXI); это голос раннего поколения гуманистов, которые наряду с Петраркой видели в Боккаччо своего учителя и пророка и поклонялись ему.

<sup>1</sup> Кардуччи используют здесь в качестве источника комментарий Бенвенuto д'Имola к дантовскому „Раю“, XXII, 74—75.

<sup>2</sup> См.: V. Branca „Per la genesi dei Trionfi“ in „La Rinascita“, IV, 1941; „L'Amorosa Visione (origine, significati, fortuna)“ in „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa“, N.S.XI, 1942; G. Boccaccio „Amorosa Visione“, ed. critica cit.; C. Calcaterra „Nella Selva del Petrarca“, Bologna, 1942, p. 145 ss.; G. Billanovich „Dalla Commedia e dall'Amorosa Visione ai Trionfi“ in „Giorn. Stor. Lett. It.“, CXXIII, 1946; II., „Petrarca letterato“, pp. 161 ss.

<sup>3</sup> Этот момент средневековой культуры остается для нас неясным, так как если светские литераторы забыли о греческом языке и литературе, то теологи широко обращались к ним, пусть даже нередко через переводчиков и посредников. См.: M. Scaduto „Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale“, Roma, 1948; R. Sabbadini „Le scopeite dei codici latini e greci“, Firenze, 1905—1914; L. R. Loomis „Medieval Ellenism“, Lancaster, 1906; C. H. Haskins „Studies in the History of Medieval Science“, Cambridge Mass., 1927; V. H. Mastrod „Les Frères et l'étude du grec“, in „Études franciscaines“ XXXV, 1923.

<sup>4</sup> Представляется сомнительным, чтобы Боккаччо знал такое произведение, как „De re rustica“, как утверждается в книге Hortis „Cicerone nelle opere del Petrarca e del Boccaccio“, Trieste, 1878, p. 72 ss.

<sup>5</sup> Рукой Петрарки здесь написано: „Hoc immensum opus donavit mihi vir egregius dominus Johannes Boccacii de Certaldo poeta nostri temporis, quod de Florentia Mediolanum ad me pervenit 1355 aprilis 10“ („Эту великую книгу подарил мне великий муж Джованни Боккаччо из Чертальдо, поэт нашего времени. Я получил ее в Милане из Флоренции 10 апреля 1355 года“).

<sup>6</sup> См.: H. Hauvette „Notes sur les mss. autographes de Boccace“, op. cit.; O. Hecker, op. cit.; O. Zenatti „Dante e Firenze“, op. cit., P. De Nolhac, op. cit., II, p. 230 ss.; V. Branca „Per la genesi dei Trionfi“, op. cit.; C. Calcaterra „Nella selva del Petrarca“, op. cit., pp. 145 ss. G. Billanovich „Petrarca letterato“, pp. 144. 421 ss.; J. H. Whitfield „Petrarca e il Rinascimento“, Bari, 1949.

<sup>7</sup> См.: V. Branca „Il Cantare trecentesco e il Boccaccio del Filostrato e del Teseida“, Firenze, 1936; G. Boccaccio „Teseida“, ed. critica a cura di S. Battaglia, Firenze, 1938, p. CLVII.

<sup>8</sup> См.: M. Barbi „Problemi di critica dantesca“, Firenze, 1934, I, p. 385 ss.; G. Billanovich „Prime ricerche dantesche“, Roma, 1947.

<sup>9</sup> См.: Ph. Wicksteed — G. E. Gardner „Dante and Giovanni del Virgilio“, Westminster, 1902; G. Albini „Dantis Eglogae ecc.“, Firenze, 1903; Id. „L'egloga di G. del Virgilio ad Albertino Mussato, in „Atti e Memorie bella Dep. Storie Patria per le Romagne“, S. III, XXIII, 1905; G. Lidonnici „La corrispondenza poetica di G. del Virgilio con Dante e il Mussato e le postille di G. Boccaccio“, Firenze, 1914; A. Galli „La ragion poetica di Albertino da Mussato e i poeti teologi“ in „Scritti vari in onore di R. Renier“, Torino, 1912; E. R. Curtius, „Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter“, op. cit.

<sup>10</sup> См.: H. Hauvette „Boccace“, op. cit., p. 203 ss.; A. Foresti „Aneddoti della vita di Francesco Petrarca“, op. cit., p. 350 ss.; V. Branca „Per la genesi dei Trionfi“, op. cit.; G. Billanovich „Petrarca letterato“, op. cit., p. 234 ss.

<sup>11</sup> См.: Hortis, Hecker, Hauvette, op. cit.; G. G. Osgood „Boccaccio on Poetry“, Princeton, 1930; C. Landi „Demogorgone“, Palermo, 1930; „Amorosa Visione“, ed. cit., p. CLXVI ss.

<sup>12</sup> Это произведение опубликовано в „Operæ latine minore“, ed. cit., p. 238 ss. Массера, опубликовавший его, датирует трактат 1348—1349 гг.; Билланович (op. cit., p. 74, 135 ss.) относит это произведение к 1341—1342 гг. и считает, что оно послужило образцом петрарковского „Письма к потомкам“, см. также: Foresti, „Aneddoti“, op. cit. p. 463 ss.; Carrara „L'epistola posteritati“, in „Annali dell'Ist. Sup. di Magistero del Piemonte“, III, 1929.

<sup>13</sup> См.: A. Hortis, „Scritti inediti di Francesco Petrarca“, Trieste 1874, p. 311 ss.; „Семейные письма“, XI, 12 и XIII, 6.

<sup>14</sup> См.: De Nolhac, op. cit., I, p. 130 ss.; N. Sapegno „Il Trecento“, op. cit., p. 370.

<sup>15</sup> См.: „Новеллино“, CXVI (ed. Biagi, Firenze, 1880, что соответствует п. 78 dell'ed. Gualteruzzi). Из Данте вспомним „Монархию“, II, 10; „Пир“, II, 1; из Петrarки — „Старческие письма“, I, 4 (где рассказываетя, как кардинал и папа пригрозили поэтам теми же самыми кардиналами, что и негромантам) и др.

<sup>16</sup> Известно, что в XIV книге происходит защита поэзии как таковой в порядке, который мы уже указали. В XV книге автор переходит от общих рассуждений к частному, к апологии своего творчества, хотя и

здесь попадаются страницы, содержащие интересные общие положения и т. д.

<sup>17</sup> Это утверждение, как представляется, Боккаччо позаимствовал у Исидора Севильского, см.: „Этимологи“ I, 40 (ср. также „Пир“, II, 1).

<sup>18</sup> См. песни IV—VI „Любовного видения“ (ed. cit.) и относящийся к ним комментарий.

<sup>19</sup> См.: V. Rossi „Il Quattrocento“, Milano, 1938, p. 54 ss.; R. Sabbadini „Storia del ciceronianismo“, Torino, 1886, p. 88 ss.; L. Pastor „Geschichte der Päpste“, Freiburg in Br., 1891, I, p. 448 ss.; G. Voigt „Il risorgimento dell'antichità classica“. Firenze, 1897, II, p. 467 ss.; K. Vossler „Poetische Theorien in der italienischen Frührenaissance“, Berlin, 1900; V. Zabugh in „Storia del Rinascimento cristiano in Italia“, Milano, 1924, p. 266 ss.; L. Thorndike „Science and Thought in the Fifteenth Century“, New York, 1929; G. Toffanin „Storia dell'Umanesimo“, Bologna, 1950, II, p. 83 ss., 251 ss., 289 ss.; P. O. Kristeller „Humanism and Scolasticism in Renaissance“ in „Byzantion“, XVIII, 1944; „La disputa delle Arti nel Quattrocento“, a cura di E. Garin, Firenze, 1947; E. Garin „Medioevo e Rinascimento“, Bari, 1954.